

## РАЗБОЙНИКИ

1781, выдержки Дятлова Н. С. от 09.02.2026, 1–20/87=77%

1. Эпиграф — *Quao medicamenta non sanant, ferrum eanat, quae ferrum non sanat ignis sanat* — в оригинале поставлен не перед предисловием (стр. 187), но перед всей драмой. Значение его: «где беспомощны лекарства, там помогает железо, где беспомощно железо, там помогает огонь». Афоризмы Гиппократа (Sectio VIII, 6), откуда взято это изречение, продолжают: «*quae vero ignis non sanat, ea insanabilia existimare oportet*» (чего и огонь не врачует, то должно считать неизлечимым). На заглавном листе первых изданий драмы имеется еще надпись *In Tirannos* (против тираннов). См. в биографии рис. на стр. XXII.
2. Нужно смотреть на эту пьесу не иначе, как на драматическую историю, которая пользуется всеми выгодами драматического приема: следит за всеми сокровеннейшими движениями души, и в то же время не стесняется пределами театрального представления, не гонится за столь сомнительными выгодами сценической обстановки. Было бы бессмысленным требованием, чтобы в течение трех часов успеть сполна очертить три столь выдающиеся личности, деятельность которых зависит, может быть, от тысячи пружин, точно так, как было бы противоестественно, чтобы три такие личности в течение каких-нибудь суток вполне выяснились бы даже перед проницательнейшим психологом. Здесь действительность представляет такое обилие один за другим следующих фактов, что ее нельзя было втеснить в узкие пределы теории Аристотеля или Батте.
3. Не самая сущность пьесы, но, скорее, её содержание делает ее невозможной для сцены. Сценическая обстановка пьесы требовала, чтобы на сцену были выведены характеры, оскорбляющие тонкое чувство добродетели, возмущающие деликатность наших нравов. Каждый поэт-психолог поставлен в эту необходимость; иначе, вместо снимка с действительной жизни, у него выйдут идеальные представления, вымышленные люди. Так уже бывает в жизни, что добрые оттеняются злыми, что добродетель живее обрисовывается в противоположности с пороком. Кто задался целью ниспровергнуть порок и мстить врагам религии, нравственности и общественных законов, тот должен изображать порок во всей его безобразной наготе, представлять его перед человечеством во всей колоссальной громадности. Он сам должен пройти моментально весь этот мрачный лабиринт, он должен сам почувствовать все то, чем, как вполне противоестественным возмущается его душа.
4. Порок разоблачается здесь во всех своих внутренних проявлениях. В личности Франца он разрешает смутные упреки совести в бессильную абстракцию, уничтожает в ней всякое сознание виновности, заставляет ее отшучиваться от строгого голоса религии. Кто так далеко зашел (слава, которой никто не позавидует), кто изошрился свой разум на счет сердца — тому не свято все, что ни есть самого святого, тому ничто и Божество, и человечество: ни тот, ни другой мир не существуют для него. Я сделал попытку набросать точный и живой снимок с такого извращенного человека, разобрать по частям весь механизм такой системы порока, проверить на деле её состоятельность и силу, что обозначится в дальнейшем развитии драмы. Думаю, что мой очерк верен действительности.
5. Рядом с этой личностью стоит другая, могущая привести в недоумение немалое число моих читателей. Дух, для которого самый величайший порок становится привлекательным только потому, что порок этот окружен величием, требует силы, сопровождается опасностями. Такая замечательная, выдающаяся личность, полная силы, неизбежно становится или Брутом, или Катилиной, смотря по направлению, которое примет эта сила. Несчастные сочетания делают Карла Моора вторым, и только после величайших заблуждений становится он первым.
6. Надеюсь, что мне не нужно оговариваться, что в этой картине я имел в виду не одних только разбойников, точно так же, как испанская сатира бичует не одних только рыцарей.
7. И теперь во вкусе времени изошрять свое остроумие насчет религии, так что, пожалуй, и не прослынешь гением, если не станешь издеваться и кощунствовать и над священнейшими её

истинами. Чуть ли не во всех кругах принято за правило, чтобы так называемые острые головы позорили благородную простоту Священного Писания и представляли ее в смешном виде. Разве все самое святое и серьезное не может быть осмеяно — стоит только умышленно извратить его? Могу надеяться, что я достойно отомстил за религию и истинную мораль тем, что в лице постыднейших своих разбойников предаю общественному позору легкомысленных порицателей Священного Писания.

8. **Скажу еще больше.** Те безнравственные характеры, о которых говорено было выше, должны были иметь и свои блестящие стороны и выигрывать в умственном отношении то, что теряют в сердечном. Здесь я оставался буквально верен природе. На каждом, даже самом порочном, в известной степени лежит божественный отпечаток — и может быть величайший злодей гораздо ближе к великому праведнику, чем злодей мелкий, ибо нравственность соизмеряется с силами, и чем выше духовные способности человека, тем глубже и страшнее их заблуждения, тем неменяемее их извращенность. | Клопштоковский Адрамелех возбуждает в нас ощущение, в котором удивление смешивается с отвращением. С ужасом и изумлением следим мы по беспредельному хаосу за Мильтоновским Сатаной. Медя древних трагедий, при всех своих злодеяниях, все-таки великая, достойная изумления женщина. Читатель столько же восторгается Шекспировским Ричардом, сколько возненавидел бы его, если бы столкнулся с ним в жизни. Если я задался мыслью представить человека во всей его полноте, то должен указывать и на хорошие его стороны, которых не лишен и самый отъявленный злодей. Предостерегая против тигра, я не смею обойти молчанием красоту его блестящей пестрой шкуры, иначе в тигре не узнают тигра. Во всяком случае, не может быть предметом искусства человек, который есть одно зло: он не привлечет к себе внимания читателя, в нем будет только сила отталкивающая. Непрочтенными останутся его речи. Душа человеческая так же неохотно выносит постоянную нравственную дисгармонию, как ухо скрип железа по стеклу.
9. Потому-то я сам не посоветовал бы ставить пьесу на сцену. От обоих, и автора, и его читателя, требуется известный запас нравственной силы: от первого — чтобы он не украшал порока, от второго — чтобы он не полюбил его, подкупленный только одной блестящей его стороной. По-моему, пусть решает кто-нибудь третий — но на своих читателей я не могу вполне положиться. Толпа, под которой я разумею не только тех, что метут улицы, толпа (между нами будь сказано) слишком широко разрослась и, к несчастью, дает тон. Она слишком близорука, чтобы постигнуть самую сущность моего произведения: слишком скудна духом, чтобы понять то, что в нем есть великого, слишком злобна, чтобы захотеть узнать, что в нем есть доброго. Я боюсь, что она не даст осуществиться моим намерениям, быть может, даже захочет найти в моем произведении апологию порока, который я стараюсь ниспровергнуть, и за собственную непонятливость заставит поплатиться бедного автора, который может рассчитывать на все, кроме справедливости. <...> Сколько ни станут друзья правды, и с церковной кафедры, и с театральных подмостков, поучать своих сограждан — толпа все-таки останется толпой, если бы даже солнце и луна изменили свое течение и небо с землей износилось бы, как какое-нибудь платье. Быть может, мне следовало бы, из снисхождения к слабосердечным, быть несколько менее верным природе; но-если всем нам знакомый муж и из жемчуга старается извлечь навоз, если случается, что в огне сгорают и в воде топят, то следует ли из того, что жемчуг, огонь и вода должны быть конфискованы?
10. Замечательная развязка моего произведения дает мне право отвести ему место в ряду так-называемых нравственных книг. Порок получает должное воздаяние; заблудший вступает вновь на путь закона; добродетель остается победительницей. Кто хотя настолько поступит со мною справедливо, что прочтет всю мою книгу и захочет понять меня, тот — смею ожидать — если и не станет восхищаться мной, как писателем, то глубоко будет уважать во мне честного человека.
11. **Ст. Моор:** Останься! мне и так не долго жить: пусть он поступает, как хочет! Грехи отцов взыщутся в третьем и четвертом колене...
12. **Франц:** «Я не мог всего разведать, и из немногого, что знаю, сообщаю тебе только очень немногое. Твой брат, кажется, уж преисполнил меру своего бесстыдства; я по крайней мере

не могу ничего придумать, чего бы уж он не сделал, если только его гений в этом отношении не превосходит мой собственный. Вчера ночью, наделав на сорок тысяч дукатов долгу»... Славные карманные денежки, батюшка!.. «обесчестив еще прежде дочь здешнего банкира и смертельно ранив на дуэли её жениха, доброго молодого человека из хорошего общества, он с семью другими товарищами, вовлеченными им же в распутную жизнь, решил бежать от рук правосудия» [*экспозиция через письмо*]

13. **Франц:** (*падает к нему на грудь*) Презренный, тысячу раз презренный Карл! Я словно предчувствовал это, когда он еще мальчиком все увивался около женщин, таскался с мальчишками и всякою сволочью по лугам и горам, от церкви бегал, как преступник от темницы, и бросал деньги, которые он всегда умел выканючивать у вас, первому встречному нищему в шляпу, тогда как мы питали душу молитвами и чтением священных книг. Я словно предчувствовал это, когда он гораздо охотнее читал жизнеописания Юлия Цезаря, Александра Великого и других таких же безбожных язычников, чем историю благочестивого Товия. Я вам сто раз предсказывал это, потому что моя любовь к нему не выходила никогда за черту сыновних обязанностей! Не говорил ли я, что он нас всех ввергнет в срам и гибель! О, если бы он не носил имени Мооров! Если бы мое сердце не билось так сильно для него! Безбожная любовь, которой я не в силах уничтожить, будет еще некогда свидетельствовать против меня перед престолом Судии [*предыстория, характеристика, мотивация*]
14. **Франц:** Это мы уж слышали. Вот об этом-то я сейчас и толковал. Пылкий дух, который бродит в мальчике, говаривали вы всегда, который делает его чутким ко всему великому и прекрасному, эта откровенность, отражающая, как в зеркале, его душу во взорах, эта мягкость чувства, вызывающая в нем слезы сочувствия при виде каждого страдания, этот мужественный дух, заставляющий его карабкаться по вершинам столетних дубов, перескакивать через рвы и палисады и гремучие потоки, это детское честолюбие, это непреклонное упрямство и все эти прекрасные, блестящие добродетели, которые росли в батюшкином сынке, сделают; из него некогда верного друга, примерного гражданина, героя, великого, великого человека! Вот вам и великий человек, батюшка! Пылкий дух развился, расширился; нечего-сказать, прекрасные плоды принес он. Посмотрите на эту откровенность — как она мило переродилась в дерзость; эта мягкость — как нежно вьется она около кокеток, как отзывчива к прелестям какой-нибудь Фрины; взгляните на этот пламенный гений — как чисто в шесть каких-нибудь годочков сжег он масло жизни, так что остались лишь кожа да кости, а люди так бесстыдны, что говорят: *c'est l'amour, qui a fait sa!* Полюбуйтесь-ка на эту смелую, предприимчивую голову, как она кует и выполняет планы, пред которыми бледнеют геройские подвиги Картушей и Говардов! А что когда эти прекрасные семена достигнут своего полного развития? Теперь от его молодых лет нельзя же и требовать ничего совершенного. Может быть, батюшка, доживете вы еще до той радости, что увидите его во главе войска, которое квартирует в священной тиши дремучих лесов и облегчает усталого путника на половину его ноши! Может быть, прежде нежели сойдете в могилу, вы успеете еще совершить странствие к его памятнику, который он воздвигнет себе между небом, и землею! Может быть... О, батюшка, батюшка, батюшка! — хлопчите о другом имени, а то все мальчишки и разносчики, видевшие портрет вашего сына на лейпцигском рынке [*где выставляли у позорного столба портреты преступников, которых не могли схватить*], станут указывать на вас пальцами.
15. **Франц:** Видите, и я могу быть остроумным; но мое остроумие — жало скорпиона, К тому ж, этот сухой, будничный человек, этот холодный, деревянный Франц — как бишь вы еще меня называли для контраста с вашим любимцем, когда он сидел у вас на коленях и пощипывал вам щеки — тот и умрет и истлеет под могильной плитой, и забудут-то все о нем, когда слава этого всемирного гения промчится от полюса к полюсу. О! воздевая молитвенно руки, благодарит тебя, Создатель, холодный, деревянный, Франц за то, что он не похож на брата!
- Ст. Моор:** Прости меня, сын мой! Не сердись на отца, обманувшегося в надеждах. Господь, посылающий мне слезы через Карла, осушит их через тебя, мой Франц.
16. **Франц:** Ну, скажите ж теперь, если б вы этого сына не называли своим, вы были бы счастливым человеком? **Ст. Моор:** Тише! о, тише! Когда его впервые подала мне мать, я

поднял его к небу и воскликнул: «я счастливейший человек в мире!» **Франц:** Вы так сказали, а так ли оно вышло? Теперь вы завидуете последнему из ваших крестьян, потому что он не отец такого негодяя. Вы до тех пор не расстанетесь с горем, пока у вас будет подобный сын. Это горе будет расти с Карлом. Это горе подточит жизнь вашу.

17. **Франц:** <...> Лучше одним глазом глядеть в небо, чем обоими — в ад. Лучше бездетным предстать Богу, чем обоим, отцу и сыну, низринуться в геену. Вот что завещало нам Божество.
18. **Франц:** <...> Не стань вас — и он сделается господином ваших поместий, властелином своих желаний. Прочь плотина — и поток его похотей помчится свободнее. Поставьте себя на его месте. С каким нетерпением должен он ожидать смерти своего отца и брата, которые так немилосердно стоят на дороге его распутства?
19. **Ст. Моор:** Неблагодарный — но все же мой сын! **Франц:** Примерный, драгоценный сын, которого вечная забота — как бы поскорей лишиться отца. О. когда вы образумитесь? когда спадет завеса с глаз ваших?
20. **Франц:** Хорошо! очень хорошо! А ну. как он, прикрывшись маской лицемерия, выплечет у вас сострадание, выканючит прощение, и на другой день, в объятиях развратных женщин, станет насмехаться над вашей слабостью? Нет, батюшка! он и сам возвратится, когда совесть перестанет упрекать его.
21. **Ст. Моор:** Напиши ему, что отцовское сердце... Повторяю тебе: не доводи его до отчаяния! (*Уходит, погруженный в задумчивость*). **Франц:** (*со смехом глядя ему вслед*) Утешься, старик! ты уж не прижмешь его к своему сердцу, путь к нему завален для него, как дьяволу путь к небу.
22. **Франц:** <...> Бедный заяц! Что за скверная роль быть зайцем на этом свете. Но господину нужны также и зайцы.
23. **Франц:** И так — смелее вперед! Кто ничего не боится, так же силен, как и тот, кого все боятся. Теперь в моде носить пряжки на панталонах, чтоб стягивать или распускать их по воле.
24. **Франц:** <...> Мне до того прожжужали уши о так-называемой кровной любви, что у порядочного человека голова бы затрещала. Это твой брат! — другими словами: он испечен и вынут из той же печи, из которой ты явился на свет, и потому — да будет он тебе священ! Заметьте, ради Бога, этот запутанный силлогизм, это смешное заключение от соседства тел к гармонии душ, от одного места рождения к одинаким ощущениям, от одной и той же пищи к одним и тем же склонностям. Далее — это твой отец! он дал тебе жизнь, ты его плоть, его кровь и потому — да будет он для тебя священ! Опять претонкая штука. Хотелось бы мне знать, зачем он меня произвел на свет? Ведь не из любви же ко мне, который еще только должен был стать «мной». Знал он меня до того, как произвел на свет? Или задумал сотворить меня таким, как я стал? или угадывал, что из меня будет? Этого я бы не пожелал ему, потому что мог бы, пожалуй, наказать его за то, что он всетаки сотворил меня. Неужели мне благодарить его за то, что я родился мужчиною? Это все равно, что жаловаться, если б из меня вышла женщина! Могу ли я признавать любовь, которая не основывается на уважении к моему собственному «я»? Но могло ли быть тут уважение к моему «я», которое именно произошло из того, чему оно само должно служить началом? Где же тут священное? Разве в самом акте, через который я получил бытие? Как-будто это было что-нибудь особенное, а не скотский процесс удовлетворения скотской похоти? Или, может быть, оно в самом результате этого акта, который, впрочем, не что иное, как железная необходимость, без него, право, все бы обошлись, еслиб только плоть и кровь того не требовали. Или разве за то мне быть благодарным, что он меня любит? Но это одно его тщеславие, общий грех всех художников, которые кокетничают своим произведением, будь оно даже отвратительно. Вот вам и все колдовство, которое вы завешиваете священным туманом, чтоб только во зло употреблять нашу трусость. Ведь я не мальчик, чтоб позволить убаюкивать себя подобными песнями. | И так — смелее! Я вырву с корнем вокруг себя все, что мне преграждает дорогу к власти. Я хочу быть полным властелином и постараюсь силою добыть то, чего не мог добыть своими достоинствами. (*Уходит*). [*мотивация*]

25. **Моор:** <...> Французский аббатик проповедует, что Александр был труслив, как заяц; чахоточный профессор, который при каждом слове подносит флакончик с нашатырным спиртом к носу, читает лекцию о силе. Люди, падающие в обморок от всяких пустяков, критикуют тактику Аннибала: вислоухие ребята ловят фразы из битвы при Каннах и злятся на победы Сципиона, потому что должны излагать их учителю. <...> В награду за ваш кровавый пот в жару битв — вы живете теперь в гимназиях, и ваше бессмертие прозябает в школьных сумках. Из благодарности за пролитую вами кровь, нюрнбергский торгаш завернет в вас грошовые пряники, а при особенном счастье, какой-нибудь французский драматург поставит вас на ходули и заставит плясать на проволоке [*вернее было бы «плясать по ниточке», как марионетка; в оригинале mit Drahtfäden gezogen zu werden*]. Ха, ха, ха! <...> Право, этот гнусный век кани к чему неспособен более, как только пережевывать подвиги прежних времен, и героев древности изводить комментариями или уродовать их в трагедиях. Сила воспроизводить людей иссякла в бедрах — и вот теперь воспроизводить людей должны помогать пивные дрожжи.
26. **Моор:** Нет! я не в силах более об этом думать! Мне ли сдавить свое тело шнуровкою и заковать свою волю в законы? Закон заставляет ползать улиткой того, кто бы взвился орлиным полетом. Закон не создал еще ни одного великого человека, тогда как свобода высиживает крайности и колоссов. О если б дух Германа жил еще в золе! Дайте мне войско таких молодцов, как я — и из Германии выйдет республика, перед которой Рим и Спарта покажутся женскими монастырями. (*Бросает шпагу на стол и встает*).
27. **Шпигельберг:** (*озадаченный, с удивлением*) Не играть же тебе роль блудного сына — тебе, удалцу, писавшему шпагою на лицах более, нежели три писца в добрый год в приказной книге...
28. **Шпигельберг:** <...> Ты созываешь докторов на консилиум и предлагаешь три дуката тому, кто пропишет собаке рецепт. Мы боялись, что господа врачи заупрямятся и скажут «нет», и уж сговорились было прибегнуть к насилию. Не тут то было: господа врачи передрались из-за трех дукатов и сбили цену на три баца [*бац — 4 крейцера (10–12 пфенигов)*]; в одну минуту написано двенадцать рецептов — и бедное животное протягивает ноги. **Моор:** Подлецы!
29. **Моор:** И ты не стыдишься этим хвастаться? В тебе нет на столько совести, чтоб краснеть от подобных воспоминаний?
30. **Моор:** Будь проклят ты за то, что мне это напомнил! проклят я, что сказал это! То вино говорило во мне — и мое сердце не внимало тому, что болтал язык.
31. **Шпигельберг:** <...> Раз, дразня собаку, я так утрафил ее по ребрам камнем, что она в бешенстве сорвалась с цепи, да за мною: я — бежать, как угорелый. Чорт возьми! проклятый ров как тут передо мною. Что делать? Собака на пятах. Не долго думая, я разбежался — скок — и прямо через ров! Прыжку этому обязан я жизнью; бестия в клочки бы меня разорвала. **Моор:** Ну что ж из этого? **Шпигельберг:** То, что силы растут с нуждою... Потому — я никогда не трушу, когда доходит до крайности. Мужество растет с опасностью; гнет увеличивает силу. Судьба, верно, хочет сделать из меня великого человека, когда так упрямо загоразивает дорогу.
32. **Шпигельберг:** Чего доброго, ты, пожалуй, мне не веришь. Не то еще увидишь, дай мне только расходиться; у тебя мозг затрещит, когда расходится мое остроумие. (*Встает с жаром*). Как все светлеет во мне! Великие мысли занимают в душе моей! Великие планы бродят в творческом черепе! (*Ударяет себя по лбу*). Тироклятая сонливость оковывала до сих пор мои силы, застилала будущность, преграждала дорогу. Я пробуждаюсь, сознаю, кто я, и кем должен стать. **Моор:** Ты глуп. У тебя зашумело в голове. **Шпигельберг:** (*более и более разгорячаясь*) Шпигельберг, закричат тогда, ты чародей, Шпигельберг! Жаль, что ты не сделался полководцем, Шпигельберг, скажет король: ты бы в мышиную щелку прогнал австрийцев. Да, слышу я сетующих докторов, непростительно, что этот человек не взялся за медицину: он изобрел бы новый порошок против зоба. Ах, как жаль, что он не захотел быть министром, вздохнут Сюлли в своих кабинетах: он бы камни превратил в луидоры! И о Шпигельберге заговорят на востоке и западе, и тогда — плесневейте, трусы, гадины, между

- тем как Шпигельберг, распустив крылья, полетит в храм бессмертия. **Моор:** Счастливым путем! Карабкайся по позорным столбам на верхушку славы.
33. **Гримм:** Видно с ума спятил! Делает какие-то жесты, как в пляске св. Вита.
34. **Роллер:** <...> Мориц, Мориц, Мориц! берегись треногого зверя [*виселицы*!] **Шпигельберг:** И тебя это пугает, заячье сердце? Сколько универсальных гениев, могших преобразовать весь мир, сгнило на живодерне, а об них говорят целые столетия, тысячелетия, тогда как много королей и курфирстов были бы пропущены историей, если бы их историки не боялись пустоты в родословном дереве и их книга не выигрывала от того двух лишних страниц в осьмушку, за которые издатель платит им наличными деньгами. А если прохожий и увидит, как ты; будешь раскачиваться туда и сюда по ветру: «должно быть, малый был не дурак!» проворчит он и вздохнет о худых временах.
35. **Рацман:** Ты, как новый Орфей, своею музыкой, усыпил моего зверя — совесть. Я твой, Шпигельберг!
36. **Роллер:** И ты также, Швейцер? *дает Шпигельбергу правую руку*). И так я закладываю свою душу дьяволу. **Шпигельберг:** А имя — звездам. Что нужды в том, куда войдут наши души, когда целые толпы вперед отправленных курьеров возвестят о нашем шествии, так что черти нарядятся в праздничные одежды и сотрут тысячелетнюю сажу с ресниц своих — и мириады рогатых голов закишат из дымного жерла своих серных печей, чтоб только посмотреть на въезд наш! (*Вскакивая*). Товарищи! живей, товарищи! Что на свете стоит этого чада восторга! Идем, товарищи!
37. **Роллер:** <...> Без Моора — мы тело без души.
38. **Моор:** Зачем эта душа не в теле тигра, питающегося человеческим мясом? Родительская ли это нежность? Любовь ли за любовь? Я бы хотел быть медведем, чтобы со всеми медведями Ледовитого моря растерзать это отродье убийц! Раскаяние-и нет прощения. О, еслиб я мог отравить океан, чтобы род людской изо всех источников опился смертью! Вера в свои силы, непреклонная энергия и в ответ — беспощадная строгость!
39. **Моор:** Как-будто бельмо спало с глаз моих! Какой же глупец я был, что порывался назад в клетку! Дух мой алчет подвигов, дыхание — свободы! Убийцы разбойники! Этим словом я попрал закон ногами. Люди застили мне человечество, когда я взывал к человечеству — прочь же от меня симпатия и человеческое сострадание! Нет у меня более отца, нет более любви и кровь и смерть да научат меня позабыть все, что я любил когда-то! Идем! идем! О, я создам для себя ужасное развлечение! Решено — я ваш атаман! и благо тому из вас, кто будет неукротимее жечь, ужаснее убивать: тот будет по-царски награжден! Становитесь все вокруг меня, и всяк клянись мне в верности и послушании на жизнь и смерть! Клянитесь мне в этом вашей правою рукою!
40. **Моор:** И так — пойдемте! Не бойтесь смерти и опасности: над нами веет непреклонная судьба! Каждый из нас найдет свой конец — будь это на мягкой ли постели, среди кровавого боя, или на виселице и колесе! Что-нибудь из всего этого будет концом нашим! (*Уходят*). **Шпигельберг:** (*глядя им вслед, после некоторого молчания*) В твоём реестре есть пропуск. Ты позабыл об яде. (*Уходит*).
41. **Франц:** Тебе страшно за Карла? Дрожишь перед бледной картиной? Поди же, полюбуйся на него самого, на твоего прекрасного, ангелоподобного, божественного Карла! Поди, упейся его благовонным дыханием и умри от амбры, веющей из его пасти: оно поразит тебя тою смертоносною тошнотою, какую производит запах расшевеленной падали, или вид рва, наполненного трупами. **Амалия** (*отворачивается*).
42. **Франц:** Что за волнение любви. Сколько сладострастия в этих объятиях! Но справедливо ли осуждать человека за отвратительную наружность? И в самом гадком эзоповом теле [*Эзоп, греческий баснописец (6 в. до Г. Хр.), был по преданию уродлив, но благороден и нежен душой*] может блистать великая и нежная душа, как рубин среди грязи. (*Злобно улыбаясь*). И на зараженных губах может цвести любовь. Правда, если порок потрясает также и силу характера; если с целомудрием улетает и добродетель, как испаряется запах из поблекшей розы; если вместе с телом и дух становится калекой...
43. **Франц:** Как это долго тянется: доктор подает надежду... Жизнь этого старика — суцая

вечность! А для меня бы открылась ровная, свободная дорога, если бы не этот несносный, живучий кусок мяса, который, как подземная собака в волшебной сказке, заграждает мне вход к сокровищам.

44. **Моор:** Философы и медики утверждают, что расположение духа дружно гармонирует с движением организма. Судорожные ощущения всякий раз сопровождаются расстройством механических отправления: страсти подтачивают телесные силы, удрученный дух клонит к земле свою темницу — тело. Так как же бы?.. Как бы смерти прочистить дорогу к замку жизни? Духом разрушить тело? Да! оригинальная идея! только, как привести ее в исполнение? бесподобная идея! Думай, думай, Моор! <...> Но каким образом приступить к делу, чтоб уничтожить сладкое мирное согласие души с телом? Какой род ощущений изберу я? Какой наиболее угрожает тонкому цвету жизни? *Гнев?* — этот жадный волк слишком скоро нажирается до-сыта; *забота?* — этот червь точит слишком медленно; *горе?* — этот аспид ползет так лениво; *страх?* — надежда не даст ему разыграться. Как? и это уж все палачи человечества? Ужели так беден арсенал смерти? (*Задумывается*). Как же бы?.. Что же бы?... Нет! А! (*Вскакивая*). — Чего не в состоянии сделать испуг? Что ум, религия против ледяных объятий этого гиганта? Но все же... ну, если он устоит и против этой бури? Ну, если?.. О, тогда идите на помощь ко мне — *сожаление*, и ты, *раскаяние*, адская Эвменида, смертоносная змея, изрыгающая свою пищу, чтоб снова пожирать ее, вы, вечно разрушающие и снова создающие свой яд, и ты — вопиющее *самообвинение*, ты, опустошающее свое жилище и терзающее свою собственную мать. Идите и вы ко мне на помощь, вы, благодетельные грации — *прошедшее* с кроткой улыбкой, и ты, с своим переполненным рогом изобилия, цветущая *будущность!* Кажите ему в вашем зеркале радости неба и окрыленной ногой бегите его алчных объятий. Так стану я наносить удар за ударом, бурю за бурей на его слабую жизнь, пока не налетит! войско фурий, называемых *отчаянием*. Победа! план готов — трудный, искусный, какого еще не бывало; но надежный, верный, потому что (*насмешливо*) нож хирурга! не найдет следа ни ран, ни острого яда. (*Решительно*). И так начнем! (*Герман входит*). А! Deus ex machina [*Буквально: бог с машины; так говорят о неожиданной развязке, намекая на исход древней трагедии (особенно у Еврипида), где запутаннейшие отношения разрешались божеством, неожиданно спускавшимся на сцену при помощи особого механизма!*] Герман!
45. **Франц:** Я знаю тебя, ты решительный малый, солдатское сердце: что на душе, то и на языке. Мой отец насолил тебе, **Герман:** Чорт побери меня, если я это забуду! **Франц:** Вот это слова мужчины! Месть прилична груди мужа. Ты нравишься мне, Герман. Возьми этот кошелек. Он был бы тяжелее, будь я здесь господином.
46. **Герман:** Ад и черти! я ему выцарапаю глаза. **Франц:** Что? ты сердишься? ты никак на него сердишься? Что ж ты с него возьмешь? Что может сделать крыса льву? Твой гнев только увеличит его торжество, тебе ничего более не остается, как щелкать зубами и вымещать свое бешенство на черством хлебе.
47. **Герман:** Но поверят ли мне? **Франц:** Это уж моя забота! Возьми этот пакет: тут подробная инструкция и, сверх того, разные документы, которые убедят, пожалуй, само сомнение.
48. **Франц:** (*кричит ему вслед*) Жатва твоя, любезный Герман! (*Один*). Когда вол сvezет весь хлеб на гумно, ему дают одно сено. Скотницу тебе, а не Амалию! (*Уходит*).
49. **Амалия:** (*продолжая пристально смотреть на портрет*) Нет! нет! это не он! Это не Карл! — здесь, здесь (*указывая на сердце и на голову*) совсем иначе, совсем другой... Бледным ли краскам выразить небесный огонь его пламенных глаз! Это такой земной портрет. Я исказила его черты.
50. **Амалия:** Отец небесный! Так это его рука! Он никогда не любил меня. (*Поспешно уходит*). **Франц:** (*топая ногами*) Все мое искусство бессильно перед этой упрямой головою.
51. **Франц входит.** **Ст. Моор:** Подойди ко мне, сын мой! Прости мне за минутную жестокость! Тебе я все прощаю. Хочу умереть с миром. **Франц:** Ну, наплакались ли вы о вашем сыне? Как видно, у вас только один. **Ст. Моор:** У Иакова было двенадцать сыновей; но о своем Иосифе он проливал кровавые слезы. **Франц:** Гм! **Ст. Моор:** Возьми-ка Библию, Амалия, и прочти мне историю Иакова и Иосифа: она меня всегда трогала, хотя тогда я еще и не был

Иаковом. **Амалия:** Которую ж из них прочесть вам? (*Берет Библию и перелистывает ее*).

**Ст: Моор:** Прочти мне о горести оставленного, когда он не нашел Иосифа между своими детьми, и тщетно ждал его в среде своих одиннадцати; и о его жалобных криках, когда он услышал, что его возлюбленный Иосиф отнят у него навеки.

52. **Франц вбегаёт радостно.** Умер! кричат они, умер! Теперь я полный *господин*. По всему замку только и слышится — умер. Но если он только спит? Конечно, это сон, после которого никогда не желают доброго утра. Сон и смерть — близнецы; стоит только употребить одно название вместо другого.
53. **Шпигельберг:** <...> Намедни иду я в типографию, говорю, будто видел известного Шпигельберга, и диктую там сидевшему писаришке живой портрет одного шарлатана-доктора. Что ж ты думаешь — статья пошла в ход, бедняка хватают, насильно допрашивают, и он, со страха и глупости, признается — черт меня побери! — признается, что он точно Шпигельберг. Гром и молния! Меня так и дергало объявить магистрату, кто я, чтоб бездельник не бесчестил только моего имени. Что ж ты думаешь? — три месяца спустя повесили таки моего доктора.
54. **Рацман:** <...> Слушай-ка, я расскажу тебе шутку, которую сыграл в монастыре Св. Цецилии [*подобные рассказы были очень распространены в это время и обрабатывались в литературе*]. В одно из моих странствований, в сумерки, я набрел на этот монастырь, а как в тот день я не сжег ни одного патрона — ты знаешь, *diem perdidit* [*потерял день: известные слова императора Тита, произнесенные им, когда он за целый день не имел случая сделать доброе дело*] я ненавижу до смерти — то мне вздумалось ознаменовать ночь штукой, стой она хоть обоим ушей дьяволу. До поздней ночи мы — ни гу-гу. Все стихло. Огни погасли. Мы и смекнули, что монахини теперь на пуховиках. Вот я и беру моего товарища Гримма с собою; другим велю ждать у ворот, пока не услышат моего свистка; хватаю монастырского сторожа, беру у него ключи, крадусь кошкой туда, где спят монашенки, забираю их платья и бросаю весь хлам за ворота. Так проходим мы из кельи в келью, отбираем у каждой сестры по одиночке платье, не исключая и настоятельницы. Я свищу — и мои малые начинают аукать и шуметь, будто страшный суд на дворе, и с гамом, криком, гвалтом прямо в кельи к спящим сестрам. Ха, ха, ха! Когда бы ты видел всю эту суматоху! Как бедные зверечки, шныряли они в темноте за своими платьями и плакали и визжали, ничего не нашедши, между тем как мы — тут-как тут у них на шее. Когда бы ты видел, как они со страха и ужаса закутывались в простыни, или, как кошки заползали под печь! Иные же от страха превращали комнату в целое озеро — хоть плавать учись. А этот визг, этот вой... и наконец самая старая корга — настоятельница, одетая как Ева до грехопадения... Ты знаешь, дружище, что на всем земном шаре нет для меня создания противнее паука и старой бабы. Теперь представь себе, что эта черная, морщинистая тварь увивается около меня и закликает еще девственным целомудрием... Ад и черти! Я уже расправил было локоть и собирался впихнуть жалкие остатки [*зубы; пародия на одно излюбленное выражение Клопштока*] в проходную кишку... Расправа коротка: или подавай серебро, монастырскую казну и все светлые талерчики, или... Мои молодцы меня поняли сразу. Словом, монастырь доставил мне слишком тысячу талеров чистыми деньгами и возможность сыграть с ним шутку в придачу. Что же касается моих малых, то они оставили его обитательницам такие сувенирчики, которые они протаскают целые девять месяцев.
55. **Рацман:** Брат! мне хвалили Италию. **Шпигельберг:** Да, да! не будем ни от кого отнимать прав. Италия имеет тоже своих молодцов, но и Германия, если только пойдет по той же дороге и бросит совершенно Библию, что уж можно предполагать по блестящему началу, то, современем, может и из Германии выйти кое-что путное. Вообще, должен я сказать тебе, что климат мало содействует развитию талантов; гений везде находит себе почву, а все прочее, братец... сам знаешь, из простого яблока и в раю не выйдет ананаса.
56. **Шпигельберг:** <...> Да, точно — на тонких штуках. Во-первых, когда приходишь в какой-нибудь город, сейчас разнюхай у надзорщиков за нищими, приставов, полицейских и дозорных, кто чаще всего к ним попадался в лапы, и потом отыскивай себе молодцов. Далее — ты гнездишься в кофейнях, распутных домах, трактирах и там щупаешь, высматриваешь,

кто больше всех ругает дешевое время и пять процентов, восстает против чумы полицейских улучшений, больше всех лает на правительство или нападает на физиогномику и тому подобное... Вот тут-то, братец, верх искусства! Честность еще шатается, как гнилой зуб — стоит только приложить клещи... Или, лучше и проще, ты бросаешь полный кошелек прямо на середину улицы, а сам где-нибудь прячешься и подмечаешь, кто его поднимает. Немного погода, ты выходишь из засады, ищешь, кричишь и спрашиваешь, так мимоходом: не поднимали ли, сударь, кошелек с деньгами? Скажет: «да» — черт его возьми, ступай мимо; если ж нет, извините сударь... не припомню... очень сожалею... тогда — победа, братец! победа! Гаси фонарь, хитрый Диоген! — ты нашел своего человека. **Рацман:** Да ты обтертый практик! **Шпигельберг:** Бог мой! как-будто я когда-нибудь в этом сомневался. Когда ж молодец будет у тебя на удочке, действуй тонко, чтоб уметь его и вытащить. Я тебе расскажу, как я поступал в подобных случаях. Я приставал к своему кандидату, как репейник, пил с ним брудершафт... Nota-bene, угощай его на свой счет. Конечно, это будет тебе кой-чего стоить; но на это нечего смотреть. Далее, ты вводишь его в игорные дома и к распутным людям; увлекаешь его в драки, запутываешь в разные проделки до тех пор, пока он не станет банкротом в силе, деньгах, совести и в добром имени, потому что, между прочим, будь сказано, ничего не сделаешь, не испортив сперва души и тела. Поверь мне, братец! Я это раз пятьдесят испытал, в продолжение моей огромной практики: если честного человека вспугнуть раз с гнезда — он чертов брат. Переход так легок, о, так легок, как скачок от девки к святоше. <...> Еще лучше и ближе к цели — обдери молодца, как липку, так, чтобы у него рубахи не осталось на теле: тогда, поверь, он сам придет к тебе. Уж меня где учить, дружище! Спроси-ка лучше эту медную рожу... Чорт возьми! его я знатно поддел: обещал ему сорок дукатов, если сделает мне восковой слепок с ключа его хозяина... Что-ж ты думаешь? — bestия ведь делает, приносит мне, черт меня побери, ключ и требует! денег. «Мусье, говорю я ему, а как я с этим ключом да пойду в полицию и найму тебе квартиру на виселице?» Тысячу дьяволов! Нужно было видеть, как малый выпучил глаза и задрожал, как мокрый пудель. «Ради Бога, смилуйтесь, сударь! я хочу... хочу...» — «Чего ты хочешь? Хочешь ты подобрать вверх косицу и идти со мной к черту?» — «О, от всего сердца! с большим удовольствием!» Ха, ха, ха! Любезный, салом ловят мышей. Да смейся же над ним, Рацман! Ха, ха, ха! **Рацман:** Да, да, признаюсь. Золотыми буквами запишу я у себя на мозгу твою лекцию. Видно, сатана знает людей, что сделал тебя своим маклером.

57. **Рацман:** Кроме шуток! И они не стыдятся служить под его начальством. Он грабит не для добычи, как мы. О деньгах он и не заботится с тех пор, как может иметь их сколько душе угодно; и даже свою треть добычи, которая следует ему по праву, отсылает в сиротские дома или употребляет на образование подающих надежды юношей. Но если придется ему пустить кровь помещику, который дерет шкуру с крестьян своих, или проучить бездельника в золотых галунах, который толкует вкривь законы и серебрит глаза правосудию, или другого какого-нибудь господчика той же масти — тут, братец, он в своей стихии, и чертовски хозяйничает, как-будто каждая жилка в нем становится фурией. <...> «Твои деньги, каналья!» закричал он громовым голосом — и граф лег, как бык под обухом. «А! это ты, бездельник, делаешь справедливость продажной девкой?» У адвоката зубы щелкали со страха. Кинжал вонзился ему в живот, как жердь в виноградник. «Я сделал свое!» вскричал он, и гордо отворотился от нас: «грабеж — ваше дело!» И он исчез в лесу.
58. **Шварц:** Скорей, скорей! где наши? Тысячу чертей! Вы стоите здесь да болтаете? да знаете ли вы!.. Так вы ничего не знаете? Ведь, Роллер... **Рацман:** Что с ним? что с ним? **Шварц:** Роллер повешен, и еще четверо других. **Рацман:** Роллер. Чорт возьми! когда! — почему ты это знаешь? **Шварц:** Уж три недели, как он сидит, а мы ничего не знаем: три раза его водили к допросу, а мы ничего не слышим; его пыткой допрашивали, где атаман? — лихой парень не выдал. Вчера было последнее заседание, а нынче утром он по экстра-почте отправился к дьяволу. **Рацман:** Проклятие! Знает атаман? **Шварц:** Только вчера узнал. Он бесится, как дикий вепрь. Ты знаешь, он более всех благоволил к Роллеру... притом же эта пытка... Канат и лесница были уже у башни — не помогли. Он сам, в капуцинской рясе, прокрался к нему и хотел поменяться с ним платьем. Роллер упрямо отказался. Теперь он дал клятву — так что у

нас дрожь пробежала по телу — засветить ему погребальный факел, какого еще не было ни у одного короля. Мне страшно за город. Он уж давно у него на зубу за свое срамное ханжество; а ты знаешь, как он скажет: «я сделаю!» то это все равно, если бы кто-нибудь из нас уж сделал. **Рацман:** Это правда: я знаю атамана. Когда уж он дает сатане слово идти в ад, то не станет молиться, хоть бы и половина «Отче наш» могла спасти его.

59. **Шпигельберг:** Я мыслю, если ненароком Наткнушь на виселицу я: Ты, брат, висишь здесь одиноко Кто ж в дураках, ты или я?
60. **Роллер:** (*выпивает бутылку водки*) Ох, славно! Как зажгло! Прямо с виселицы, говорю вам. Что вы стоите да зевааете? — я был всего в трех шагах от лестницы, по которой должен был взойти в лоно Авраамово... так близко, так близко... Словом, я был уже совсем запродан в анатомический кабинет, с костями и кожей — и ты мог бы сторговать мою жизнь за щепотку табаку. Атаману обязан я воздухом, свободой и жизнью. **Швейцер:** Это была знатная штука, братцы, о которой стоит рассказывать! За день узнали мы только через наших шпионов, что Роллеру приходится туго, и если небо не обвалится в этот день, то он завтра же, то-есть — сегодня, последует по пути всей плоти. «Ребята!» сказал атаман: «нет ничего слишком большего для друга! Спасем ли мы его или нет, но засветим, по крайней мере, ему погребальный факел, какого еще не было ни у одного короля!» Собралась вся шайка.
61. **Швейцер:** Между тем, мы бегаем из улицы в улицу, как фурии, и кричим на весь город: «пожар, пожар!» Вой, крик, стукотня; гудит набат.
62. **Роллер:** <...> Товарищи, вот как я спасся. Моор! Моор! дай Бог тебе поскорее попасться в такой же омут, чтоб мне можно было отплатить тебе тем же. **Рацман:** Шельмовское желание, за которое тебя стоит повесить. Тем не менее это была уморительная штука. **Роллер:** Это была истинная помощь в нужде: вам ее не оценить. Для этого надо — с петлею на шее, как я — заживо прогуляться к могиле. А эти ужасные приготовления, эти отвратительные церемонии, причем с каждым шагом, на который становятся тебя дрожащие ноги, проклятая машина, на которой скоро отведут тебе квартиру, все ближе и ближе восстает перед тобою в лучах восходящего солнца! А поджидающие палачи! а ужасная музыка, которая еще до сих пор гремит в ушах моих! а карканье проголодавшихся воронов, сидевших десятками на моем полусгнившем предшественнике? Это все... все... и сверх того еще предвкушение того блаженства, которое цветет для нас на том свете. Братцы, братцы! и после всего этого вдруг лозунг свободы. Это был сладкий звук, как будто на небесной бочке лопнул невидимый обруч. Слушайте, каналы! Уверяю вас, что если м мне пришлось из раскаленной печи выпрыгнуть в холодную, как лед, воду — переход был бы слабее того, который я почувствовал на другом берегу. **Шпигельберг:** (*громко хохоча*) Бедняга! пропотел же он не на шутку. (*Пьет*). С счастливым возрождением! **Роллер:** (*бросает стакан*) Нет, клянусь всеми сокровищами Маммона, я не захотел бы переиспытать всего этого во второй раз. Смерть не прыжок арлекина; а предсмертные муки еще ужаснее самой смерти. **Шпигельберг:** Вот она, взорванная башня... Смекаешь теперь, Рацман? — оттого-то целый час так и пахло кругом серой, как будто проветривался весь гардероб Молоха. Это была гениальная штука, атаман! Я завидую ей. **Швейцер:** Если весь город мог радоваться при виде, как дорезывают нашего товарища, будто затравленного кабана, нам и подавно нечего совеститься того, что мы пожертвовали городом из любви к товарищу.
63. **Один из шайки:** Во время суматохи я пробрался в церковь святого Стефана и спорол бахромку с покрова алтаря. Господь Бог богат, подумал я, и может соткать золото из простой веревки. **Швейцер:** И прекрасно сделал! — к чему этот вздор в церкви? Его тащат Творцу, который смеется над хламом, а люди между тем голодают.
64. **Моор:** (*мрачно*) Роллер, ты дорого нам обошелся! **Шуфтерле:** Вот беда! Добро бы это были еще мужчины, а то по большей части грудные младенцы, золотившие простыни, сторбленные старухи, сгонявшие с них мух, зачерствевшие лежебоки, не могшие уже более находить дверей; больные, жалобно призывавшие доктора, который важной рысью следовал за процессией. Все, у кого только были здоровые ноги, выползли посмотреть на комедию, а дома оставались только одни подонки города. **Моор:** О, бедные, беспомощные созданья. Больные, говоришь ты, старики и дети? **Шуфтерле:** Да, черт возьми! да няньки, да

беременные женщины, которые видно побоялись, чтоб не выкинуть под самой виселицей или, заглядевшись на привлекательное зрелище, не наклеить еще в материнском чреве виселицы на горбы своим ребятам, да бедные поэты, у которых не было башмаков, потому что единственную свою пару отдали в починку — и тому подобная сволочь, о которой и говорить-то не стоит. Проходя мимо одного домишка, я услышал писк: смотрю — и, при свете пламени, что же вижу? Ребеночек, да такой свеженький, здоровенький, лежит на полу под столом, который уже начинал загораться. «Бедный зверечек! ты озябнешь здесь», сказал я — и бросил его в огонь. **Моор:** В самом деле, Шуфтерле? Так пусть же это пламя бушует в груди твоей до тех пор, пока не поседет сама вечность! Прочь, чудовище! Не показывайся более в моей шайке! Вы ропщете? — рассуждаете? Кто смеет рассуждать, когда я приказываю? Прочь, говорю я. Между вами многие уже созрели для моего гнева. Я знаю тебя, Шпигельберг! Но я скоро явлюсь среди вас и сделаю страшную переключку. *(Все с трепетом уходят).* **Моор:** *(один, быстро ходит взад и вперед)* Не внимай им, Мститель небесный! Я не виноват в этом! Виноват ли Ты, если посланный тобою мор, голод, потопаы пожирают праведника вместе с злодеем?! Кто запретит пламени бушевать в благословенной жатве, когда ему назначено выжечь гнезда саранчи? Детоубийство! убийство женщин! Как тяготят меня все эти злодеяния! Они отравили мои лучшие дела. И вот стоит ребенок, пристыженный и осмеянный, перед оком Неба за то, что осмелился играть палицей Юпитера, и поборол пигмеев, когда должен был низвергнуть титанов. Нет, нет! не тебе править мстительным мечем верховного судилища. Ты пал при первой попытке. Я отказываюсь от дерзновенного плана. Пойду и скроюсь где-нибудь в трущобе, где свет дневной отпрянет навсегда от моего срама. *(Хочет идти.)*

65. **Швейцер:** Ну, подняли ж мы их с пуховиков! Да радуйся же, Роллер! Мне уж давно хотелось подраться с этими дармоедами. Где атаман? Собралась ли вся шайка! Ведь у нас довольно пороху? **Рацман:** Пороху-то целая пропасть; но нас всего только восемьдесят: стало быть, на одного придется их двадцать. **Швейцер:** Тем лучше! Пусть их будет хоть пятьдесят против моего большого пальца. Ведь ждали ж, бестии, до тех пор, пока мы не подождли у них перин под задницей. Братцы, братцы! это еще не велика беда. Они продают свою жизнь за десять крейцеров: мы будем драться за свои головы и свободу!
66. **Патер:** Я прислан от высокомогущего правительства, властного даровать жизнь и осудить на смерть; вы же — воры, грабители, шельмы, ядовитые ехидны, пресмыкающиеся во тьме и жалящие исподтишка, отстой человечества, адово отродье, снесь для воронов и гадов, колония для виселицы и колеса... **Швейцер:** Собака! перестанешь ли ты ругаться? или... *(приставляет ему приклад к самому лицу).* **Моор:** Стыдись, Швейцер! Ты сбиваешь его с толку. Он так славно выгучил наизусть свою проповедь. Продолжайте, господин патер! И так — «для виселицы и колеса»? **Патер:** А ты, хитрый атаман, князь убийц, король воров, великий могол всех плутов под солнцем, совершенное подобие того первородного возмутителя, распалившего пламенем бунта тысячи легионов невинных ангелов и вовлекшего их вместе с собою в бездонный омут проклятия! Вопли оставленных матерей несутся по стопам твоим; ты пьешь кровь, как воду; люди для твоего смертоносного кинжала весят легче пузыря. **Моор:** Правда, совершенная правда! Что ж дальше? **Патер:** Как? — правда, совершенная правда? Разве это ответ? **Моор:** Видно вы к этому не приготовились, господин патер? Дальше, дальше, дальше! что вы еще нам скажете?
67. **Швейцер:** Слышишь, атаман? Не сдавить ли горла этой облезлой собаке так, чтобы красный сок брызнул из всех пор его тела?
68. **Моор:** Прочь от него! Никто не смей до него дотронуться! *(саблю и обращается к патеру).* Видите ли, господин патер! здесь семьдесят девять человек и я, их атаман. Ни один из них не умеет обращаться в бегство по команде, или плясать под пушечную музыку; а там у опушки, стоит тысяча семьсот человек, поседелых под ружьем; но выслушайте, что скажет вам Моор, атаман воров и грабителей. Правда, я убил рейхсграфа, поджог и разграбил доминиканскую церковь, внес пламя в ваш лицемерный город и обрушил пороховую башню на головы добрых христиан; но это еще не все. Я еще более сделал. *(Протягивает правую руку).* Видите вы эти четыре драгоценные перстня у меня на пальцах? — Ступайте же и донесите слово в

слово высокопочтенному судилищу на жизнь и на смерть то, что увидите и услышите. Этот рубин снял я с пальца одного министра, которого за смертью положил на охоте к ногам его государя. Он из черни лестью дополз до степени любимца; падение предшественника было для него ступенью к почестям; слезы сирот возвысили его. Этот алмаз снял я с одного коммерции советника, продававшего почетные места и должности тем, кто больше давал, и отгонявшего от дверей своих скорбящего патриота. Этот агат ношу я в честь одного попа, одной масти с вами, которого я повесил собственными руками за то, что он на кафедре, перед всем приходом, плакал об упадке инквизиции. Я мог бы рассказать еще более историй о своих перстнях, если бы не раскаялся и в этих нескольких словах, которые напрасно потерял с вами.

69. **Моор:** Слышали ль? Заметили ль его вздох? Взгляните — он стоит, как-будто хочет созвать все огни небесные на шайку нечестивых, осуждает пожатием плеч, проклинает одним христианским вздохом. Неужели человек может до того ослепнуть! Он, у кого есть сто аргусовых глаз подмечать пятна на своем брате, может ли он стать до того слепым к самому себе? Громовым голосом проповедуют они смиренномудрие и терпение, а сами Богу любви приносят в жертву людей, как огнерукому Молоху; поучают любви к ближнему и гонят проклятиями восьмидесятилетнего слепца от своего порога; горячо восстают против скупости, а сами опустошили Перу за золотые слитки и запрягли язычников, будто скотов, в свои колесницы. Они ломают себе голову над тем, как могла природа произвести Иуду Искарюта, а между тем и не самые худшие из них с радостью бы продали триединого Бога за десять серебряников. О, вы фарисеи, вы искажители правды, вы обезьяны божества! И вы не страшитесь преклонять колена пред крестом и алтарями, терзать ваши ребра ремнем и постами убивать плоть! И вы думаете всем этим жалким паясничеством пустить пыль в глаза Тому, Кого вы сами же, глупцы, называете Всеведующим, ну точно имеете дело с теми великими и сильными, над которыми всего злее насмехаешься, когда, лestia и ползая перед ними, уверяешь, что они ненавидят льстецов. Вы толкуете про честность и непорочное житие, между тем как Бог, видящий насквозь сердца ваши, прогневался бы на вашего Создателя, если б только не он сам создал нильское чудовище [*крокодил*!] Прочь с глаз моих! **Патер:** Даром что злодей, а какой гордый! **Моор:** Мало с тебя — так я начну говорить с тобой гордо. Ступай и скажи высокопочтенному судилищу, играющему в жизнь и смерть: я не вор, что в заговоре со сном и в полночь карабкается по лестницам. Что я сделал, то, без сомнения, я некогда сам прочту в долговой книге Провидения; но с его жалкими наместниками я не хочу терять более слов. Скажи им: мое ремесло — возмездие, месть — мой промысел. (*Отворачивается от него*). [*Есть основание полагать, что рассказ Карла о жертвах его мести имеет связь с действительными деятелями вюртембергского двора: министром Монмартэном, угнетавшим страну и интригами устранившим своего предшественника; министром финансов советником Оппенгеймером, заместившим все должности своими креатурами, испортившим монету и всеми способами сосавшим соки из народа; после смерти герцога он был в 1738 г. предан суду и казнен.*]
70. **Моор:** Вы слышали? Поняли? Чего же вы еще медлите? о чем задумались? Церковь предлагает вам свободу, а вы уже теперь его пленники; дарит вам жизнь — и это не пустое хвастовство, потому что вы уже осуждены на смерть; обещает вам почести и должности, а ваш жребий, хотя бы вы и остались победителями, все-таки будет — позор, преследование и проклятие; оно возвещает вам примирение с небом, а вы уже прокляты. Нет волоса ни на одном из вас, который бы избавился от ада. И вы еще медлите? еще колеблетесь? Разве так труден выбор между небом и адом? Да помогите же, господин патер! **Патер:** (*про себя*) Что он с ума спятил что ли? (*Громко*). Уж не боитесь ли вы, что это западня, чтоб только переловить вас живьем? Читайте сами: здесь подписано всепрощение. (*Дает Швейцери бумагу*). Сомневаетесь ли вы еще? **Моор:** Вот видите ли? Чего ж вы еще хотите? Собственноручная подпись — это милость свыше всех пределов. Или вы, может быть, опасаетесь, чтоб они не изменили своему слову, потому что когда-то слышали, что изменникам слова не держат? О, не бойтесь! Уже одна политика принудит их сдержать его, будь оно дано хоть самому сатане. Иначе — кто им поверит вперед? как они пустят его в ход

другой раз? Я готов прозакладывать свою голову, что они вас не обманывают. Они знают, что я один вас возмутил и озлобил; вас же они считают невинными. Ваши преступления они принимают за проступки, заблуждения молодости. Одного меня им нужно; один я понесу наказание. Так, господин патер? **Патер:** Какой дьявол глаголет его устами? Так, конечно, конечно так! Этот малый меня с ума сводит. **Моор:** Как! все нет ответа? Уж не думаете ли вы оружием проложить себе дорогу? Да посмотрите кругом? На это вы уж наверно не надеетесь — это было бы детскими мечтами. Или вы надеетесь пасть героями, потому что видели, как я радовался битве? О, выбросьте из головы подобные идеи! Вы не Мооры! Вы — низкие мошенники, жалкие орудия моих великих планов! Вы презренны, как петля в руке палача! Ворам не пасть, как падают герои. Жизнь — выигрыш для воров; за её чертою наступят ужасы — и воры правы, что трепещут смерти. Слышите, как трубят их трубы! видите, как грозно блещут их сабли! Как! еще не решаетесь? С ума сошли вы, или поглупели? Это непростительно! Я не скажу вам спасибо за жизнь: я стыжусь вашей жертвы! **Патер:** *(в чрезвычайном удивлении)* Я с ума сойду. Я лучше убегу отсюда! Слыханное ли это дело? **Моор:** Или не боитесь ли вы, что я лишу себя жизни и самоубийством уничтожу договор, отвечающий только за живого? Ваш страх напрасен, дети! Вот, смотрите: я бросаю кинжал и пистолеты, и этот пузырек с ядом, который мне бы годился: я теперь так бессилён, что! даже потерял власть над собственной жизнью. Что, все еще не решаетесь? Или не думаете ли вы, что я буду защищаться, когда вы примитесь вязать меня? Смотрите! к этому дубу привязываю я свою правую руку — теперь я беззащитен, ребенок меня свалит. Кто из вас первый оставит в нужде своего атамана?

71. **Франц:** Опять здесь, упрямая мечтательница? Ты покинула наш веселый пир и унесла вместе с собою веселость гостей моих. **Амалия:** И действительно, как не пожалеть о невинной веселости, когда погребальное пение, проводившее в могилу твоего отца, должно еще звучать в ушах твоих! **Франц:** Неужели же ты будешь вечно оплакивать? Оставь мертвых почивать в покое и думай о живых! Я пришел... **Амалия:** А когда уйдешь?
72. **Франц:** Не горячитесь, всемиростивейшая принцесса! Правда, Франц не изгибается перед тобою отчаянным селадомом; правда, он не умеет, подобно сладеньким пастушкам Аркадии, поверять эху гротов и утесов свои любовные жалобы: Франц говорит, и если ему не отвечают, он приказывает. **Амалия:** Ты, червь, будешь приказывать? мне приказывать? Ну, а если твои приказания отошлют назад с презрительным смехом? **Франц:** Ты этого не сделаешь. У меня есть еще прекрасное средство переломить твою гордость, упрямец! это — монастырь и келья!
73. **Франц:** Ага! вот как! Берегись! Теперь ты сама научила меня искусству мучить тебя. Мой взгляд, подобно огневласой фурии, выгонит из головы твоей эти вечные мечтания о Карле: пугало-Франц будет всякий раз выглядывать из-за образа твоего любимца, подобно заколдованному псу, стерегущему подземные клады. За волосы потащу я тебя к алтарю; шпагой вырежу супружескую клятву из твоего сердца; силой овладею твоим девственным ложем, и твою гордую стыдливость низложу еще с большею гордостью. **Амалия:** *(даёт ему пощечину)* Сперва возьми это в приданое! **Франц:** *(в бешенстве)* О! в тысячу крат отомщу я за это! не супругой — этой чести ты не стоишь — наложницей моей ты будешь, и честные крестьянки пальцами станут показывать на тебя, когда ты только осмелишься выглянуть на улицу. Скрежещи зубами, бросай пламенные взоры! — меня веселит бешенство женщины; ты становишься от него только прекраснее, интереснее. Пойдем! — борьба с тобой украсит мою победу и приправит для меня сладострастие насильственных объятий. Пойдем в мою комнату! — я горю желанием... Ты должна идти со мною. *(Хочет насильно увести её).* **Амалия:** *(падая в его объятия)* Прости меня, Франц! *(Только что он хочет обнять её, как она выдергивает у него шпагу и поспешно отскакивает).* Видишь ли злодей, что я с тобой могу теперь сделать? Я женщина, но бешеная женщина! Осмелься; только коснуться грязною рукою до моего тела — и это железо в то же мгновение пронзит твое похотливое сердце: тень моего: дяди направит мою руку. Прочь! *(Прогоняет его).*
74. **Шварц:** Ничего нет мудреного. Все может погибнуть за несколько часов до жатвы. **Моор:** Об этом-то я и говорю. Все может погибнуть. Зачем бы человеку удалось то, что у него

общего с муравьем, когда не сбывается то, что бы его сравняло с богами? Или уж не в этом ли вся сила его назначения? **Шварц:** Не знаю. **Моор:** Хорошо сказал, и еще лучше сделал, если никогда не старался узнавать этого. Друг! я видал людей, их пчелиные заботы и их исполинские замыслы, их божественные планы и их мышинные занятия — всю эту чудесно-странную скачку за счастьем. Один поручает себя быстроте коня, другой носу своего осла, третий своим собственным ногам. Это пестрая лотерея жизни, где многие берут билеты ценою своей невинности и своего неба, лишь бы вытянуть выигрышный номер. Тянут, тянут — и вынимают до конца одни пустые билеты — ибо выигрыша и не было. Это — зрелище, друг, которое вызывает слезы на глаза и вместе с тем располагает грудную перепонку к громкому смеху. **Шварц:** Как величественно закатывается солнце. **Моор:** *(погруженный в созерцание)* Так умирает герой. Божественно! **Гримм:** Ты тронут! **Моор:** Когда я был еще ребенком, моей любимой мыслью было жить, как оно, как оно — умереть. *(С подавленной грустью)*. Это была ребяческая мысль!

75. **Моор:** Было время, когда я не мог уснуть, не прочитав вечерней молитвы. **Гримм:** С ума сошел ты, что ли? Уж не хотел ли бы ты поучиться у своего детства? **Моор:** *(кладет голову грудь Гримму)* Брат! брат! **Гримм:** Да не будь же ребенком, прошу тебя. **Моор:** Если б! о, если б мог я им стать снова! **Гримм:** Что ты? что ты? **Шварц:** Развеселись. Полюбуйся этим живописным местоположением, этим прекрасным вечером. **Моор:** Да, друзья, мир так чудесен! **Шварц:** Вот это дело! **Моор:** Земля так прекрасна! **Гримм:** Дело, дело! Давно бы так. **Моор:** *(вздрагивая)* А я так гадок в этом чудесном мире, а я чудовище на этой прекрасной земле. **Гримм:** Боже мой! Боже мой! **Моор:** Моя невинность! моя невинность! Взгляните, все выходит греться под мирными лучами весеннего солнца: зачем я один высасываю муки ада из радостей неба? Все дышет счастьем, все так братски связано духом мира. Целый свет — одно семейство; но Отец его — не мой Отец. Я один отчужденный, я один изгнанный из среды праведных; нет для меня сладкого имени сына; нет для меня тающих взоров любви; нет, нет для меня жарких объятий друга. *(С ужасом подается назад)*. Окруженный убийцами — шипящими змеями, прикованный к пороку железною цепью, я по шаткой жерди греха иду чрез пропасть погибели. Среди цветов счастливого мира — я горько-вопиющий Аббадона! **Шварц:** *(разбойникам)* Непостижимо! Я в первый раз вижу его в таком расположении духа. **Моор:** *(горестно)* Если б можно было возвратиться в чрево матери! если б я мог родиться нищим! Нет! я не хотел бы ничего более, праведное небо, только бы сделаться последним поденщиком! О, я бы стал трудиться так, что кровавый пот капал бы с лица моего! Я выкупил бы себе сладострастие послеобеденного сна, блаженство единственной слезы! **Гримм:** Ну, слава Богу, пароксизм уменьшается. **Моор:** Было время, когда они так охотно текли из глаз моих. О, вы, незабвенные дни мира! ты, древний отцовский замок! вы, зеленую блестящие долины! О райские сцены моего детства! вы никогда не возвратитесь, никогда своим тихим дыханьем не прохладите моей дышащей огнем груди. Ушли, ушли безвозвратно? Швейцер с водою в шляпе. **Швейцер:** Пей, атаман! Воды вволю и холодна, как лед.
76. **Косинский:** Ищу мужей, которые прямо смотрят в лицо смерти, и играют с опасностью, как с ручной змеею, ставят свободу выше чести и жизни, чье одно имя сладкое для ушей бедных и угнетенных заставляет трусить самых храбрых и бледнеть тиранов. **Швейцер:** *(атаману)* Мальй мне нравится. Слушай, друг! ты нашел, кого искал. **Косинский:** Я думаю — и надеюсь, что они скоро будут моими братьями. Так проводите меня к тому, кого я ищу: к вашему атаману, к атаману из атаманов — графу фон-Моору. **Швейцер:** *(с жаром подает ему руку)* Дружище! мы с тобою на ты.
77. **Моор:** Что ж вас приводит ко мне? **Косинский:** Ах, атаман! — моя более нежели жестокая судьба! Я потерпел крушение на бурном море жизни; я видел, как мои надежды тонули в страшной пучине — и у меня ничего более не остается, как воспоминание об их потере, которое могло бы свести меня с ума, если б я не старался подавлять этого воспоминания хоть какою-нибудь деятельностью.
78. **Моор:** Потому только, что тебе не посчастливилось в каких-нибудь пустяках, ты хочешь сделаться мошенником, убийцею? Убийство! Ребенок, понимаешь ли ты это слово? Теперь

ты спокойно отходишь ко сну, нарвав маковых головок; но носить в душе убийство...

**Косинский:** Я готов отвечать за каждое убийство, какое ты мне поручишь... **Моор:** А, ты уж так умен? хочешь лестью ловить людей? Но почему ты знаешь, что у меня нет дурных снов, что на смертном одре я не побледнею? Что сделал ты до сих пор такого, из-за чего бы можно было думать об ответственности?

**Косинский:** Конечно, еще очень немного; но все же это путешествие к тебе, благородный граф... **Моор:** У ж не попала ли тебе в руки по милости

гувернера история Робина Гуда? На галеры б всех этих неосторожных каналий! Не она ли так разгорячила твою детскую фантазию и заразила нелепым желанием стать великим человеком? Тебя пленяет громкое имя, почести? ты бессмертие хочешь купить разбоем и грабежами? Заметь, честолюбивый юноша, лавры не зеленеют для убийц! Нет триумфов для побед бандитов — а проклятия, опасности, смерть и срам. Видишь ли виселицу там на холме? **Шпигельберг:** *(в негодовании ходит взад и вперед)* Ах, как это глупо! как это отвратительно, непростительно глупо! Этим ничего не возьмешь! Я поступал иначе.

**Косинский:** Чего бояться тому, кто не боится смерти? **Моор:** Славно! бесподобно! Ты хорошо учился, знаешь наизусть Сенеку. Но, любезный друг подобными изречениями тебе не обморочить страждущей природы, никогда не притупить стрел горести. Обдумай хорошенько, дитя мое. *(Берет его руку)*. Я советую тебе, как отец: узнай сперва глубину пропасти, в которую хочешь прыгнуть. Если в свете ты можешь еще уловить хоть одну радость... Могут быть минуты, когда ты пробудишься — и тогда будет уже поздно. Ты выйдешь здесь из круга человечества; ты должен будешь стать или человеком исключительной высоты, или дьяволом. Послушай, сын мой! если хотя одна искра надежды еще где-нибудь тлеет для тебя, оставь наш ужасный союз, скрепленный отчаянием, если только не высшею мудростью. Можно ошибаться... поверь мне, можно силою считать то, что на самом деле есть не что иное, как отчаяние... Поверь *мне* — и беги от нас скорее!

79. **Моор:** Ступай вперед и доложи обо мне. Знаешь, что ты должен говорить? **Косинский:** Вы — граф фон-Брандт, едете из Мекленбурга; я ваш рейткнехт. Не беспокойтесь! я сыграю свою роль. Прощайте. *(Уходит)*.
80. **Моор:** <...> Золотые, майские годы детства снова оживают в душе несчастного. Тогда ты был так безоблачно весел; а теперь... всюду лежат обломки твоих планов! Здесь ты должен был некогда жить великим, всеми чтимым человеком; во второй раз пережить свои детские годы в цветущих детях твоей Амалии; быть идиолом своего народа. Но злomu духу, видно, не понравилось это! *(Вздрагивает)*. Зачем я пришел сюда. Затем ли, чтоб, подобно колоднику, звоном железной цепи пробудить себя от сна о свободе?
81. **Моор:** Удивительный человек! И его не стало? **Амалия:** Он умер, как умирают наши лучшие радости. *(Дотрогиваясь до руки его)*. Граф, нет счастья под солнцем!
82. **Франц фон-Моор:** *(Погруженный в размышление)* Прочь, ненавистный образ! прочь! низкий трус, чего трепещешь ты? и перед кем? С тех пор, как этот граф в моем замке, мне все кажется, что какой-то адский шпион крадется по пятам моим. Я как будто его где-то видел. В его диком, загорелом лице есть что-то величественное, знакомое, повергающее меня в трепет. И Амалия равнодушна к нему: кидает на него свои сладко-томные взоры, на которые — я знаю — она очень и очень скупа [*экспозиция задним числом*]
83. **Франц:** <...> Еще немного труда! Я и без того погряз по уши в смертных грехах, так что, право, глупо плыть назад, когда берег назад уж почти скрылся из виду.
84. **Франц:** Что известные обстоятельства его принуждают... что часто приходится надевать маску, чтоб обмануть врагов... что он отомстит за себя, жестоко отомстит. **Даниэль:** И не пикнул обо всем этом.
85. **Даниэль:** *(пораженный)* Что, милостивый граф? Нет, этого он не говорил. Но когда барышня водила его по галерее — я в это время обмахивал пыль с рамок — он вдруг остановился [*здесь, очевидно, недосмотр, так как Даниэля при той сцене не было, и местом действия остается галерея*] перед портретом покойного барина, будто громом пораженный. Тогда барышня указала на этот портрет и сказала: «редкий человек!» — «Да, редкий человек!» — отвечал он, утирая глаза.
86. **Франц:** <...> Во всю свою жизнь ты еще ни в чем мне не противоречил, затем что сам

- понимаешь, что обязан мне неограниченным послушанием во всем, что я ни прикажу тебе.
- Даниэль:** Во всем, что только не противно Богу и совести. **Франц:** Пустяки, пустяки! И тебе не стыдно? Старик, а верит святочным сказкам. Прочь, братец, с этими глупыми мыслями. Ведь я здесь господин. Меня, а не тебя накажут Бог и совесть, если только они существуют.
87. **Франц:** Тут нечего долго раздумывать! Твоя судьба в моих руках. Что хочешь — или томиться целую жизнь в самом глубоком из подвалов моего замка, где голод заставит тебя глотать собственные кости, а жажда — пить собственную воду, или в мире и покое доживать свой век? **Даниэль:** Как, сударь? Мир и спокойствие — и убийство? **Франц:** Отвечай на мой вопрос. **Даниэль:** Мои седины! о, мои седины! **Франц:** Да, или нет?! **Даниэль:** Нет! Господи, сжался надо мной! **Франц:** *(делает вид, что хочет уйти)* Да, это тебе скоро понадобится! *(Даниэль удерживает его и падает пред ним на колени)*! **Даниэль:** Сжальтесь, сжальтесь! **Франц:** Да, или нет?
88. **Франц:** Послушание лучше жертвы. Слышал ли ты когда-нибудь, чтоб палач сентиментальничал перед совершением казни. **Даниэль:** Так, так! но загубить невинную душу... загубить... **Франц:** Я не обязан давать тебе отчета. Разве топор спрашивает у палача, зачем так, а не эдак? Но — видишь, как я долго терпелив к тебе — я предлагаю тебе еще награду зато, что ты и без того обязан сделать. **Даниэль:** Но я надеялся остаться христианином, служа вам. **Франц:** Без отговорок. Я даю тебе целый день на размышление. Подумай хорошенько. Счастье или горе... Слышишь ты? понимаешь?... Величайшее счастье, или ужасные муки! Я превзойду себя в пытках. **Даниэль:** *(после некоторого размышления)* Хорошо, завтра я все сделаю. *(Уходит)*. **Франц:** Искушение было сильно, а бедняк не родился быть мучеником за свою веру. На здоровье, любезный граф! По всей вероятности, завтра ввечеру вы будете фигурировать на том свете.
89. **Франц:** <...> На отца, который выпил, быть может, за ужином лишний бокал вина, ни с того, ни с другого нападет похоть, — и из этого происходит человек. А человек был уж наверно последнею вещью, о которой думали в продолжение этой геркулесовской работы. Вот и на меня теперь также нашла похоть — и человек околеет: и уж, конечно, тут более ума и цели, нежели было при его зачатии. Жизнь многих людей зависит от жары июльского полудня, от привлекательного вида постели, от лежачей позы спящей кухонной грации или от потушенной свечи. Если рождение человека — дело случая или скотской похоти, можно ли считать важным и его уничтожение? <...> Человек рождается из грязи, бродит некоторое время по грязи, сам делает грязь и потом гниет в грязи, пока, наконец, сам грязью не пристанет к подошве! своего праправнука. Вот и вся песня — грязный круг человеческого назначения. Затем — счастливый путь, любезный братец! Желчный больной моралист-совесть — может, пожалуй, гонять морщинистых старух из непотребных домов, или на смертном одре мучить старого ростовщика; но у меня она никогда не получит аудиенции. *(Уходит)*.
90. **Даниэль:** <...> О, говорю вам, есть жестокие люди, жестокие братья, жестокие господа; но я, за все золото моего господина, не хочу быть жестоким слугою.
91. **Моор:** Она думала, что я умер — и оставалась верна мнимо-умершему; она услышала, что я жив — и пожертвовала для меня венцом праведницы [*отказалась от мысли уйти в монастырь; неясно, откуда это известно Карлу*].
92. **Моор:** О, она несчастная девушка: её любовь пала на погибшего — и никогда, никогда не вознаградится. **Амалия:** Нет, она наградится на небе. Ведь говорят же, что есть лучший мир, где печальные возрадуются и любящие соединятся. **Моор:** Да, мир, где спадет завеса и любовники в ужасе содрогнутся при встрече друг с другом. Вечность — его имя. Моя Амалия несчастная девушка.
93. **Разбойники:** *(поют)* И стон зарезанных отцов, И матерей напрасный зов, И вой детей, и женщин крики! Для нас приятнее музыки. | О, как они страшно визжать под ножом! Как кровь у них бьется из горла ручьем!.. А нас веселят их кривлянья и муки: В глазах у вас красно, в крови у нас руки. | Когда ж придет мой смертный час — Палач, кончай скорее! Друзья! всех петля вздернет нас: Кутите ж веселее! Глоток на дорогу скорее вина! Ура! ай люли! смерть на людях красна!

94. **Шпигельберг:** <...> Не знаю, что у нас за понятия о свободе: день-деньской, как волю, не выходим из упряжи, а в то же время разглагольствуем о независимости. Мне это не по нутру.
95. **Моор:** *(погруженный в созерцание, вдруг приходит в себя)* О, непостижимый перст мстительной Немезиды!
96. **Моор:** *(поёт)* <...> *Брут:* <...> *Кто прав из нас — покажет то конец.*
97. **Моор:** Когда бы мне кто-нибудь мог поручиться?... Все так мрачно! запутанные лабиринты: нет выхода, нет путеводной звезды. Ну, если бы все кончилось с последним вздохом, как пустая игра марионеток?... Но к чему эта неутолимая жажда счастья? К чему этот идеал недоступного совершенства, это отлагательство неоконченных планов, когда ничтожное пожатие этой ничтожной вещицы *(приставляя пистолет ко лбу)* равняет мудреца с глупцом, труса с храбрым, честного с плутом? Даже в бездушной природе — и в той такая божественная гармония, зачем же в разумном существе быть подобной разноголосице? Нет! нет! есть что-то высшее, потому что я еще не был счастлив. | Не думаете ли, что я задрожу перед вами, вы, тени задавленных мною? Нет, не задрожу! *(Дрожит)*. Ваше жалкое предсмертное визжание, ваши посинелые лица, ваши страшно-зияющие раны — все это только звенья неразрывной цепи судьбы, которые притом тесно связаны с моими пирами, с причудами моих нянек и гувернеров, с темпераментом моего отца, с кровью моей матери. Зачем мой Перилл сделал из меня быка — и человечество варится в моем раскаленном чреве? *[зачем я являюсь орудием зла в природе?]* *(Приставляет пистолет ко лбу)*. Время и вечность, скованные друг с другом одним мгновением! Заржавленный ключ, запирающий за мною темницу жизни и отмыкающий мне обитель вечной ночи, скажи мне, о, скажи мне, куда, куда ты приведешь меня? Чуждая, никем невиданная страна. И вот — утомленное человечество падает перед этим образом, мышцы конечного слабеют, и фантазия, — эта своенравная обезьяна чувств — рисует нашему легковерию странные тени. Нет, нет! Человек не должен колебаться... Чем бы ты ни было безымянное «там» — только бы мое «я» осталось мне верным. Чем бы ты ни было, лишь бы я себя самого мог взять с собою. Внешность — это одеяние человека... Я сам — мое небо и ад. | Что если Ты поселишь меня одного в каком-нибудь испепеленном мире, лишенном Твоего присутствия, где одна только ночь и вечные пустыни будут окружать меня? Я населю тогда молчаливую пустоту своими фантазиями и целую вечность буду разглядывать искаженный образ всеобщего бедствия. Или уж не хочешь ли Ты через беспрестанно новые возрождения, через беспрестанно новые места казни и бедствия, со ступени на ступень привести меня к уничтожению? Разве я не могу разорвать жизненные нити, отпряденные для меня там, так же легко, как и эти? Ты можешь уничтожить меня, но — не лишишь этой свободы. *(Заряжает пистолет. Вдруг как бы образумившись)*. Ужели я умру со страха перед мучительною жизнью? паду ниц перед бедствиями? Нет, я хочу страдать! *(Бросает пистолет)*. Пусть страдания разобьются о мою гордость! Я выпью до дна чашу бедствий. *(Становится темнее и темнее)*. *[Монолог Карла Моора часто сравнивали с знаменитым «Быть или не быть» Гамлета, несомненно оказавшим влияние на Шиллера.]*
98. **Моор:** <...> Или пришел ты дать ответ на мои вопросы, растолковать мне загадку вечности?
99. **Ст. Моор:** Не проклинай его! Так поступил со мной родной сын, Франц. **Моор:** Франц? Франц? О, вечный хаос!
100. **Ст. Моор:** Я обнимал колени Франца, и просил, и молил, и молил и обнимал их, и заклинал: мольбы отца не дошли до его сердца! «Пора костям на покой!» отвечал он: «ты довольно пожил!» И меня безжалостно бросили в подземелье, и сам Франц запер его за мною.
101. **Ст. Моор:** <...> Тысячу раз со слезами молил я Бога о смерти; но, видно, мера моего наказания еще не исполнилась, или, может быть, еще какая-нибудь радость ждет меня, что я каким-то чудом все перенес.
102. **Моор:** <...> Здесь становлюсь я на колени, здесь простираю я три перста к небу, здесь клянусь я — и да выплюнет меня природа из границ своих, как зловредную тварь, если я нарушу эту клятву — клянусь не видеть дневного света, пока кровь отцеубийцы, пролитая перед этим камнем, не задымится к солнцу! *(Встает)*. **Разбойники:** Это дьявольская штука! Вот, говорят, мы негодяи! Нет, такой штуки мы не сумеем выкинуть. **Моор:** Да! и клянусь

всеми ужасными вздохами тех, что умерли под ножами вашими, тех, что пожрало мое пламя и раздавила моя взорванная башня, мысль об убийстве или грабеже да не прежде взойдет к вам в головы, пока платье ваше до-красна не вымокнет в крови злодея! Вам, верно, никогда еще не снилось, чтоб вы могли стать десницею высших судеб? Нынче, нынче невидимая сила облагородила ремесло наше. Молитесь Тому, Кто даровал вам такой возвышенный жребий! Кто путеводил вас сюда, Кто удостоил вас быть ужасными ангелами Его мрачного судилища! Обнажите головы! Падите во прах и встаньте освященными! *(Все становятся на колени)*.

103. **Франц:** Нет, я не дрожу. Ведь это только сон [*всё описание сна Франца навеяно многими местами из Ветхого Завета, знакомство с которым вообще сильно отразилось на «Разбойниках», особенно на языке драмы*]. Мертвые не встают. Кто говорит, что я дрожу и бледнею? Мне так легко, так хорошо. <...> Вдруг страшный удар грома поражает слух мой: в трепете встаю я, и что же? — вижу: ярким пламенем горит весь горизонт; и горы, и леса, и города растоплены, как воск в печи; воющий ветер метет и море, и землю, и небо... Вдруг раздалось с вышины, как-будто из медных труб: Земля, отдай мертвецов своих, отдай мертвецов своих, море. И вот — голая степь стала трескаться и выбрасывать черепа и ребра, и челюсти, и ноги — и они срослись, становились телами и затем видимо-невидимо неслись по воздуху, точно живая буря. Я взглянул вверх, и что же? — я очутился у подошвы громоносного Синая. Гляжу — надо мною толпы народа и подо мною толпы, а на самой вершине горы, на трех дымящихся престолах, три старца, от взгляда которых бежала всякая тварь. **Даниэль:** Да это подобие страшного суда! **Франц:** Не правда ли, какая бессмыслица? Вот встал первый из них подобный звездной ночи. Он держал в руке железный перстень, и держал его между восходом и закатом, и так говорил: «Вечно, свято, праведно, не ложно! Есть только одна истина, есть одна добродетель. Горе, горе, горе сомневающемуся червю!» Потом встал второй. У него в руке было блестящее зеркало, и держал он его между восходом и закатом, итак говорил: «Зеркало это — истина; лицемерие и притворство не выдержат его отражений». И я устрасился, и весь народ со мною, потому что в ужасном зеркале отражались одни головы змей, тигров и леопардов. Потом встал третий. У того были в руке железные весы, и держал он их между восходом и закатом, и так говорил: «Подойдите ближе, дети Адамовы! Я взвешиваю помышления в чаше моего гнева, а тела — гирями моей мести!»
104. **Даниэль:** До смеха ли тут, когда у меня мороз по коже подирает! Сны нисходят от Бога.
105. **Франц:** Мудрость черни — трусость черни! Ведь еще не доказано, что прошедшее не прошло, или что всевидящее око царствует над! звездами. Гм! гм! кто это надоумил меня? Разве есть мститель превыше звезд? Нет нет!.. да, да! Все ужасно говорит мне: «есть Судия над звездами!» И к этому надзвездному Судии предстать в эту же ночь! Нет — это жалкая норка, куда хочет заползти твоя трусость. Пусто, глухо там, над звездами. А если в самом деле чтонибудь да есть там? Нет, нет, там ничего нет! Я хочу, приказываю, чтобы там ничего не было! Но если есть? Горе тебе, если все перечтется, если в эту же ночь перечтется!.. Отчего мороз проникает в мои кости? Умереть! Отчего это слово так поражает меня? Отдать отчет Судии небесному... О, если Он справедлив, сироты, вдовы, беспомощные, угнетенные — все возопиют к Нему. Но если Он; справедлив, то зачем они страдали? зачем я торжествовал над ними?
106. **Франц:** Теперь, теперь хочу я знать это, сейчас, сию минуту, чтоб не наделать глупостей и в час нужды не воззвать к идолу черни. Я часто, насмехаясь, говорил тебе за бокалом бургонского: «Нет Бога!» Теперь я без шуток говорю с тобою и повторяю: «Нет Бога!» Опровергай меня всеми орудиями, какие имеешь в своей власти — и я их рассею одним дуновением уст моих. **Мозер:** Когда б ты также легко мог рассеять гром, который, тысячекратно поразит твою надменную душу! Этот всевидящий Бог, которого ты, глупец и злодей, хочешь уничтожить в среде Его созданий, не имеет нужды оправдываться устами праха. Он так же велик в своих ужасных карах, как и в улыбке торжествующей добродетели. **Франц:** Знатно, поп! вот это по мне! **Мозер:** Я пришел сюда по делам высшего Владыки, и говорю с таким же червем, как и я, которому не намерен нравиться. Знаю, что разве одним чудом можно вынудить признание у твоей закоснелой злости, но если так сильно твое

убеждение, зачем призывать меня? Скажи, зачем ты посылал за мною в полночь? **Франц:** Потому что я соскучился и мне надоели шахматы. Вот мне и вздумалось, скуки ради, погрызться с попом.

107. **Франц:** Потому что я соскучился и мне надоели шахматы. Вот мне и вздумалось, скуки ради, погрызться с попом. Пустым стращаньем с меня немного возьмешь. Я очень хорошо знаю, что тот, кто здесь попал в просак, надеется на вечность — и жестоко ошибется. Я читал, что все наше существо есть не что иное, как обращение крови, и что, вместе с последнею каплею, застывают душа и мысли. Дух разделяет с телом все его слабости, стало-быть и должен уничтожиться вместе с его разрушением, испариться вместе с гниением. Попади тебе в мозг одна капля воды — и твоя жизнь внезапно остановится и будет граничить потом с небытием — потом наступит смерть. Ощущение есть сотрясение некоторых струн — и разбитые клавикорды не звучат более. Разрушь я свои семь замков, или разбей я эту Венеру — и симметрии и красоты не стало. То же и с нашей бессмертной душою. **Мозер:** Это философия вашего отчаяния. Но ваше собственное сердце, боязливо бьющееся в груди, обличает вас. Всю эту паутину систем разорвут слова: «ты должен умереть!» Я вызываю вас — и пусть это послужит испытанием: если и в час смерти вы будете так-же непоколебимы, если ваши убеждения и тогда вам не изменят — вы победили; но если малейший трепет хоть на миг овладеет вами, тогда — горе вам: вы обманулись!
108. **Мозер:** И вот впервые мечи вечности растерзают вашу душу; но уже будет поздно. Мысль о Боге разбудит ужасного соседа: имя его — Судия. Моор, на конце вашего мизинца висит жизнь тысячей и из этих тысячей девятьсот девяносто девять вы сделали несчастными. Чтоб-быть Нероном, вам недостает только Римской империи, и Перу, чтобы называться Пизарро. Неужели вы думаете, что Бог допустит, чтобы единый человек, как бешеный, хозяйничал в Его мире и все становил вверх дном? Неужели вы думаете, что эти девятьсот девяносто девять созданы для того только, чтобы гибнуть от руки вашей, или быть куклами вашей сатанинской игры? О, не думайте этого! Он потребует некогда от вас каждую минуту, что вы украли у них, каждую радость, что вы им отравили, каждый шаг к совершенству, что вы преградили им... И если вы и на это ответите ему, Моор, — вы правы. **Франц:** Довольно, ни слова более! Уж не думаешь ли ты, что я с этих пор стану плясать под твою дудку? **Мозер:** Нет, Моор, судьба людей стоит в страшно-прекрасном равновесии. Чаша весов, понижаясь в этой жизни, возвысится в той; возвысясь в этой, упалет в той. Что было здесь временным страданием, будет там вечным торжеством; что было здесь конечным торжеством, будет там вечным, бесконечным отчаяньем.
109. **Франц:** Но я не хочу быть бессмертным: до других мне дела нет. Я заставлю Его уничтожить себя, я раздражу Его до бешенства, чтоб Он в бешенстве уничтожил меня. Назови мне самый величайший из грехов, наиболее могущий прогневить Его.
110. **Франц:** *(вскакивая)* Ступай в ад, зловещая сова! кто велел тебе прийти сюда? Вон, говорю я, или я убью тебя! **Мозер:** Разве поповские бредни могут устрашить такого философа? рассейте же их одним дуновеньем уст ваших. *(Уходит)*.
111. **Франц:** *(молится)* Я не был каким-нибудь обыкновенным убийцей, мой Создатель! я никогда не грешил в пустяках, мой Создатель! **Даниэль:** Прости его, Господи! И молитвы у него становятся грехами.
112. **Швейцер:** *(отходит от него)* Да! он не радуется. Он мертв, как крыса. Ступайте назад и скажите атаману: «он умер!» Меня же он более не увидит. *(Застреливается)*.
113. **Р. Моор:** *(отталкиват ее от себя)* Прочь, коварная змея! Ты хочешь насмеяться над моим бешенством; но я поборю тиранское предопределение.
114. **Старый разбойник:** Вспомни о богемских лесах! Слышишь! чего же еще медлишь? Вспомни о богемских лесах! Изменник, где твои клятвы? Разве раны забываются так скоро? Когда мы счастье, честь и жизнь готовы были положить за тебя, когда стояли, как стены, как щиты, ловили удары, на тебя одного направленные — не ты ли тогда поднял руку к небу, не ты ли поклялся никогда не оставлять нас, как и мы — никогда не покидать тебя? Предатель! клятвопреступник! Из-за кого ты хочешь оставить нас — из-за какой-нибудь развратницы?
115. **Р. Моор:** <...> Ничего не может быть справедливее: я не хотел Его, когда Он искал меня;

теперь я ишу Его — и Он меня не хочет. Что ж может быть справедливее? Не смотрите на меня таким неподвижным взглядом: я не нужен Ему. Ведь у него всяких тварей целая пропасть! Без одного Он очень легко может обойтись, и этот один, по несчастью, — я: вот и все тут! Пойдем, товарищи!

116. **Амалия:** *(останавливает его)* Стой, стой! Удара! одного смертельного удара! Опять покинута! Вынь свой нож — и сжалься надо мной! **Р. Моор:** Сожаление ушло к медведям: я не убью тебя. **Амалия:** *(обнимая его колени)* О, ради Бога! ради всех милосердий! Мне уж не нужно любви: я знаю, что наши созвездия враждебно бегут одно от другого. Одной смерти прошу я. Покинута! покинута! Понимаешь ли ты ужасные звуки этого слова: «покинута!» Я не могу перенести этого. Видишь сам: женщине не перенести этого! Одной смерти прошу я! Видишь, моя рука: дрожит: у меня не достает твердости, чтобы нанести удар. Я боюсь блестящего острия — тебе ж это так легко, так легко: ты ведь такой мастер убивать. Вынь же нож свой — и я счастлива! <...> **Р. Моор:** Стой! Осмелюсь только! Возлюбленная Моора должна и умереть от руки Моора! *(Закалывает ее).* **Разбойники:** Атаман, атаман! что ты делаешь? в уме ли ты? **Р. Моор:** *(неподвижным взглядом смотрит на труп)* В самое сердце. Еще одно содрогание — и все кончено. Смотрите! чего вам еще нужно? Вы жертвовали мне жизнью — жизнью, которая уже не принадлежала вам, жизнью, полную отвратительных преступлений и срама: я для вас убил ангела. Посмотрите, посмотрите! Довольны ли вы теперь?
117. **Р. Моор:** О, я глупец, мечтавший исправить свет злодеяниями и законы поддержать беззаконием! И я называл это мстью и правом!
118. **Разбойники:** Пускай идет! Разве не видите: он заражен славолубием. Он меняет жизнь на пустое удивление. **Р. Моор:** Мне станут удивляться? *(После некоторого размышления).* На дороге сюда мне случилось говорить с бедняком-поденщиком, у которого одиннадцать человек детей. Тысячу луидоров обещано тому, кто предаст славного разбойника живым. Для бедняка это будет не дурная помощь. *(Уходит).*

*Конец текста*